Елена
СЧАСТЛИВЦЕВА
г. Санкт-Петербург

Самый счастливый день

рассказ

Ужасная догадка, что ночь эта может не кончиться никогда-никогда, прервала хаотично-яркие сны. Девочка оглядела комнату: ну совсем темно! На одной кровати, причем отвернувшись от нее, беззвучно спала мама, а все другие, спящие, вдыхающие и выдыхающие попеременно на разные лады, отгородившиеся от нее плотно закрытыми веками, ушедшие каждый в свои миры неясных видений, бросили ее одну в этой темной комнате, куда не доносятся даже отдаленные гудки поездов из той другой жизни, откуда она приехала с мамой на зимние каникулы только вчера.

...Поезд долго не приходил. Говорили: «Снегу выпало так много, что засыпало все пути». Девочка то стояла с мамой на перроне, то шла в буфет есть жареные пирожки с повидлом, запивая их сладким кофе с молоком, который тетя наливала из сверкающего никелированного бака. Тетя поворачивала ручку на баке, и в граненый стакан из носика лилась пенящаяся кремовая жидкость, а в неровном зеркале бака ярко светили люстры буфета. Девочка не была голодна, ей просто нравилось сюда приходить. Здесь так много взрослых! И они все стояли за высокими столиками, отчего казались ей еще взрослее и умнее, а вот она сидела с мамой за низким.

– Ну сколько раз можно! – одернула ее мама на перроне.

В буфет они больше не пойдут, а поезда все не было.

– Мама, я успею на Ёлку в Кремле?

– Нет, Лёшка заберет твой подарок.

Поезд подали, когда стемнело и Ёлка закончилась. Ждать сегодня больше нечего. Окно вагона, черное, холодное, гладкое, вмещало в себе девочку, сидящую у окна, чужих равнодушных людей, яркий свет, а за ними – уплывающий перрон, незнакомые дома, однообразные леса, нечасто перебиваемые притихшими подслеповатыми поселками, одинокой будкой с фонарем у переезда, бросающим на рельсы холодные длинные блики, опущенным шлагбаумом, за которым заснеженная дорога уходила в никуда.

Мимо этой пустой черноты по выстуженному ветрами снежному полю, скользя сквозь ночь, сверкающей новогодней гирляндой поезд уносил мягкое теплое тельце ребенка, все глубже погружаясь во мрак, удаляясь от шум-

ного ярмарочного вокзала, от яркого буфета, где тетя все так же поворачивает носик бака, наливая сладкий кофе.

Когда за своим отражением девочка разглядела бабушку, укутанную белым кружевным шарфом поверх цигейковой шапочки, это означало, что приехали в Москву. Дурацкий шарф, он больно кололся, когда бабушка тормошила девочку, звучно целовала, прижимаясь холодными дряблыми щеками.

Дома двоюродный брат Лёшка их не дождался. Дед сказал, что он «задрых». Вернувшись с Кремлевской ёлки, ожидая девочку, он так долго скакал и хохотал, что неожиданно свалился и уснул. А дедушка не спал. Не вставая со стула, он задумчиво-медленно привлек к себе внучку, целуя и гладя ее по мягким, заплетенным в косу волосам, и все смотрел на нее долго-долго. Девочка также поцеловала его и отпрянула. Ей стало гадко и страшно от того, что ладони у деда совсем белые, плоские и фарфоровые негнущиеся пальцы заканчивались такими же белыми и плоскими ногтями, а жилистую с обвисшей истонченной кожей шею деда, сдавленную узкими острыми плечами, обнажал открытый ворот рубашки. Из тщедушного старческого тела вывалился упругий, точно мяч, круглый живот, горой возвышающийся над дедом, когда он спал.

Дед всегда спал на мягкой деревянной кровати, на которую по случаю приезда уложили спать девочку с мамой. Деду же достался диван с откидными валиками по бокам, с замечательной высокой спинкой и резной деревянной полкой, увенчанной бронзовой чернильницей с упитанными и, судя по улыбкам, совершенно беззаботными ангелочками. Чернильница эта звонко клацала крышкой с пупочкой, но только когда скачешь на диване.

Когда приехала девочка, там спал Лёшка, уткнувшись свернутой набок физиономией в жесткий круглый валик дивана. Он не повернулся, даже когда с его резиново-расслабленного тела в несколько приемов стащили сначала штаны, потом рубаху. Он не проснулся даже тогда, когда его перенесли на пол на расстеленный там матрац. Вот бы посмотреть, что ему снилось!

Лешка был частым гостем, оттого-то ему сейчас досталось наименее почетное место – с бабушкой на полу.

Девочка обвела взглядом комнату: там чернел квадратный шкаф, тут – круглый живот деда, еще два стола, письменный и обеденный, чернел буфет с посудой, составленные горой стулья, чтобы освободить место для матраса на полу, только оконные занавески с зелеными кудрявыми розами величиною с кочан капусты бледнели слабым уличным светом.

Когда девочка распахнула глаза, люстра и солнце сияли вовсю. Она переметнула взгляд на елку. Елочка была уж очень маленькой и стояла на холодильнике, тарахтящем и вздрагивающем, отчего ее крохотные, свисающие на ниточках игрушечки слегка раскачивались. Ну скажите, как под такой елкой может поместиться ПОДАРОК?!!

Спрыгнув с кровати, глухо топая пятками, девочка побежала к холодильнику, развернула бумажный пакет, лежавший под елкой, – это было платьице, летнее, веселое. Она приложила его поверх ночной рубашки, обвела всех ликующим, ничего не видящим взглядом:

– Я к вам летом в нем приеду!

– Да, – коротко выдохнул дед, и его тонкий длинный нос сделался еще длиннее.

Девочка вытащила еще один пакет – мужская рубашка, темно-синяя, в клеточку. Зачем ей она? ... А! Это для папы... Она слышала, как он говорил маме, что не имеет ни малейшего желания идти к шефу и просить отгулы без всякой видимой причины, выслушивая его колкости, и что все равно он не даст. Из слов отца она ничего не поняла, но отчего-то запомнила их мгновенно.

Когда бабушка рассказывала маме, как стояла в ГУМе в очереди, боясь, что не хватит нужного размера, дед вдруг помрачнел. Казалось, ему было неприятно любое упоминание об оставшемся в Ленинграде папе.

Для мамы под елкой лежал самый маленький подарок – затертая коробочка. В ней на зеленом бархате, как среди травы, лежали бабушкины золотые сережки с аметистами.

– Мама...

– Да, да, – поспешно отвечала бабушка. – Мы с дедом умрем – тебе память будет. Вот такой скромный подарок, такой скромный подарок...

Но было видно, что ни она сама, ни дед не считают подарок скромным, напротив, они горды им, ведь теперь у бабушки ничего больше

для себя не осталось, кроме застиранных фартуков, халатов и выходного костюма, в котором она раз в году фотографировалась с внуками.

В длинной рубахе до пят, с растрепанной за ночь косой девочка стояла на цыпочках рядом с матерью, заглядывая снизу, как по лиловым прозрачным граням камней перекатываются лучистые блики, как, вдруг вспыхнув, они тонут в глубине кристалла.

– Брысь! – сказала ей мама. – Писать и одеваться!

И девочка побежала из комнаты, а дергая за толстую керамическую грушу, висящую на цепочке, с интересом наблюдала за водой, низвергающейся с ниагарским ревом в бабушкин унитаз.

За завтрак она села в новом платье рядом с приунывшим Лешкой: свой подарок он уже давно получил и успел привыкнуть.

– Кушай, лапушка, кашку, которую цыплятки любят кушать! – И бабушка поставила перед девочкой тарелку с рассыпчатой пшенной кашей, в лунке которой колыхалась масляная лужица.

Большой кулинаршей бабушка не была и, проснувшись рано-прерано, на радостях наготовила всего, что могла придумать. Тут были и пшенная каша, и клубничный кисель, и вареные яйца, и масленые гренки, молоко, чай. У бабушки каша не остывала – сварив ее, она заворачивала кастрюльку в одеяло. А мама так не делала никогда!

– А ну-ка, бабка, подавай теперь диету, – говорил дед, все отведав. И бабушка несла ему творог со сметаной.

Девочка ела кашу, но положили ей так много, что она даже устала.

– А яичко, а творожок?.. – суетилась бабушка.

Девочка пила только тягуче-сладкий кисель. Иногда она заглядывала в чашку с вязким киселем, в которой лениво и медленно плавали распухшие обесцвеченные клубничины.

Покончив с «диетой», дед посадил к себе внучку на колено.

– Ай земзюля-земзюля, ай земзюля-земзюля! – пел он, качая в такт девочку на колене. Девочка не понимала его слов, но знала совершенно точно: они означают что-то очень хорошее и про нее. Она покрепче обняла деда руками, чтобы не съехать, а на второе колено проворно вскочил Лешка. Дед продолжал петь, едва качая их, но теперь «земзюля-земзюля» относилось уже к обоим внукам.

Ах, ну почему вчера вечером девочку так раздражало частое свистящее дыхание деда, злили до жалости булькающий стариковский кашель, седая щетина на сдутых щеках, потертая заячья кацавейка, надоевшие бабушкины поцелуи то в ручку, то в щечку! А утром до чего же здорово скакать у деда на колене! Вдруг начисто позабыв о существовании деда, внучата спрыгнули на пол: Лешка вспомнил про подарок с Кремлевской ёлки!

Девочка слушала его рассказ, то есть все то, что ожидала услышать: «Ёлка во-о-о такая большая!.. У Деда Мороза борода во-о-о такая длинная!..» Коварные кикиморы украли у Деда Мороза что-то волшебное, без чего то ли не будет гореть елка, то ли не будет подарков, но ведь есть хорошие звери...

Подарок с Кремлевской ёлки лежал перед девочкой: картонная сумочка с мандарином, конфетами и яблоком. Там были еще и вафли с нарисованной на обертке большой еловой шишкой, из которой торчал будто клок травы, на них красовалась надпись – «Ананасовые». Девочка таких не ела. Конфеты также были в неизвестных московских фантиках.

– Дети, одевайтесь! Едем в Сокольники!

– Мама, а можно я с подарком поеду?..

Девочка отложила со вздохом подарок и стянула с себя новое летнее платье, чтобы надеть свитер, рейтузы, шубу, валенки, закутаться шарфом по самые глаза и поехать на каток. А бабушка ползала на четвереньках по полу прихожей. Она зашнуровывала ботинки деду, грузно сидящему на стуле. Дед тоже собирался на прогулку, он говорил, что это полезно.

Потом девочка стояла с ним во дворе, ждали Лешку с мамой.

– Посмотри-ка во-о-он туда! – И, светло улыбаясь, точно неживой рукой, обтянутой гладкой кожаной перчаткой, дед показал на крышу дома. Солнце висело по-зимнему низко, спрятавшись за крыши, и казалось, его сияние, а не ветер сгоняло с пухлых ватных крыш хлопья снега. Играя золотом, они медленно осыпали им землю.

Когда девочка с мамой и Лешкой уходили на

станцию метро, дед все так же стоял совершенно один среди безмолвного двора, чернея плохо различимым пятном. Стоял и смотрел то на удаляющихся детей, то на спускающееся белое золото снега.

В парке девочка обула новенькие фигурные коньки с двумя нарисованными снежинками по бокам, мама с Лешкой – хоккейные с облупленными носами бесформенных черных ботинок.

То правой, то левой, то обеими руками, а в общем, где и за что получится Лешка цеплялся за маму девочки, озабоченно сетуя, что давно уже не стоял на коньках. Изо всех сил он прижимал мелко дрожащие в широченных шароварах коленки друг к другу, надеясь, что ноги его когда-нибудь возьмут да и перестанут разъезжаться в разные стороны. От напряжения и обиды Лешка вспотел, но он ничего не мог поделать! Сверху он видел, как ноги его, самопроизвольно гуляющие в бесформенных штанинах, едут друг от друга все дальше и дальше, и уже нет никаких сил свести их друг с другом! Лешка знал, что упадет, не сейчас, но очень скоро, губы его медленно расползлись в гримасе, и он разревелся, прежде чем упал, успев ухватиться за брюки мамы девочки и потянуть их за собой.

Заскучав с ними обоими, девочка, оттолкнувшись серебристым ребром конька, легко на одной ножке поскользила вперед, мама только крикнула ей вдогонку, чтоб каталась одна, пока она будет стоять в очереди в гардероб, куда понесла сумку с вещами, потащив на прицепе слабоустойчивого Лешку.

Нет, этот каток не какой-нибудь отгороженный сугробами кусок льда, зажатый во дворе высокими, подчас не имеющими окон, стенами домов с плакатом «Берегите спички от детей!» или «Не оставляйте одних детей с включенными электроприборами!». Здесь аллеи стекались со всех сторон в одну большую, круговую, залитую под каток, она обвивала целую рощу. Затем аллейки вновь веером разлетелись, замерев где-то в глубине на резкой границе со снегом. И, подчиняясь всеобщему движению, можно скользить вокруг рощи все быстрее и быстрее, с каждым звонким толчком конька набирая скорость, и прыгать, прыгать, поворачиваясь спиной, выделывать ногами сложнейшие зигзаги или плыть по кругу «корабликом». Но, когда движение начнет плавно гаснуть, когда ботинок конька будет все медленнее проплывать мимо изощренных росчерков, выбоин, брызг льда, можно резко, крепко-крепко вдруг прижать руки к груди, зажмуриться и закружиться волчком, заворачивая вкруг себя спиралью ветер. Потом опять все лететь и лететь, ласточкой, на одной ноге, раскинув руки широко-широко, чтобы обнять весь мир: «Я вас всех так люблю!..» И, выгнув спину, смотреть в слепяще-голубое небо, которое только над одной тобой такое яркое и высокое...

Из белой дымки барханов-облаков, медленно кружась, падали редкие снежинки, а из сугробов вырастали бело-розовые с черными родимыми пятнами стволы берез. И чем выше тянулся ствол, тем пятен становилось больше, и у ветвей они сливались, делая их совершенно черными, поднимающимися вверх, а затем безвольно стекающими графическими струйками. Но, так и не достигнув земли, не завершив круг, они тихонько раскачивались, сбрасывая редкий снежок, оставляющий на рыхлых сугробах горсти оспин.

Негреющее солнце с длинными, как на рисунках, лучами светит на уровне сощуренных ресниц, а всегда смеющийся рот не хочет прикрыть будто застывшие от мороза зубы. Где-то крутится пластинка, и стальная игла с шипением и хрустом скользит по ее спиральной дорожке, громко щелкая в перерывах между песнями в висящих на столбах колокольчиках. В самом дальнем конце дорожки стоял Лешка с мамой. Лешка утирал шерстяной обледенелой варежкой слезы: одновременно он захотел какать и у него резко заболел зуб. Мама отрезала: «Довольно!»

Чтобы забраться на цепочные карусели, нужно подниматься по обледенелым ступенькам скрипучей деревянной лестницы, потом садиться каждому в свое сиденье. Карусель медленно набирала ход, с каждым кругом увеличивая расстояние между девочкой, Лешкой, мамой, землею. Там, внизу, с нарастающей скоростью крутились мама, аллеи, тетка, продающая пончики, вертелась невидимая пластинка с нескончаемой музыкой, и летящий впереди Лешка, позабыв хвори и невыполнимые на мо-

розе желания, оборачивался, что-то крича. Но его никак нельзя было услышать, потому что ветер, летя вокруг каруселей, успевал забегать вперед и дул в лицо. Но вот цепи с сиденьями спускаются ниже и ниже. Теперь они просто идут по кругу. Девочка почувствовала, что замерзла, и потащила маму к тетке с пончиками, масляными и круглыми, как сама тетка.

Небо, там, где оно смыкалось с заснеженной землей, незаметно затягивалось белой непрозрачной пеленой, поглотившей солнце, сужающимся кольцом ползущей вверх по бледнеющему куполу неба. Сомкнувшись, пелена принялась сереть, синеть так быстро, что темнота наступила прежде вечерних сумерек. Ветер, просквозивший девочку на каруселях, окреп и, сдувая с сугробов снежную пыль, кружил ее в сизоватом воздухе.

Девочка не замечала всего этого. Ей хорошо было от выпитого теплого кофе, от хрустящего пончика, ноздреватого и мягкого внутри, а ногам в валенках мягко и свободно после жестких зашнурованных коньков.

Когда они подходили к дому, ветер сделался еще сильнее. В самом начале года он сделался таким, каким должен быть только в феврале, когда мертвой бледностью покрывается весь мир, а чернеющие силуэты людей и деревьев лишь усиливают необъяснимую необъятную тоску.

Дома перед девочкой и Лешкой поставили по тарелке горячего куриного бульона с желтыми бесформенными клецками. Дети доели бульон и еще нечто бесхитростное, приготовленное бабушкой специально для них.

Мама с бабушкой ушли на кухню: вечером придут в гости Лешкины родители. Бабушка и мама что-то крошили, варили, мыли под неустанным взглядом бабушкиной соседки, тети до того модной, что она даже горячий растворимый кофе пила через соломинку. Дед после обеда укладывался спать, но сейчас он изменил годами установленному распорядку и что-то писал, сидя за письменным столом, освободившись от суетного женского взгляда.

– Деда, а что ты пишешь? – подлез к его плечу Лешка.

– Письма пишу, – обреченно вздохнул дед.

– А зачем так сразу много?

– Так сразу много всем надо будет отсылать.

Не пытаясь разобрать мелкий дедовский почерк, Лешка долго следил за его рукой, пристроившись на одной ножке у края стола.

– Деда, а ты только конверты подписываешь и пустую бумажку туда кладешь...

– Эти бумажки для бабушки, – пояснил дед. – Она всех адресатов не знает, одна потом будет уведомлять.

– А... – Лешку полностью удовлетворил его ответ.

Дед надписал еще несколько конвертов.

– Сделал все. Все! – сказал он. Какое-то время он еще глядел на пустые письма сквозь очки, затем молча и медленно сложил их аккуратной стопочкой и спрятал в верхний ящик стола, щелкнув ключом в выщербленной замочной скважине. Ключ дед положил на стол рядом с крашеным гипсовым бюстом Ленина, который, если бы не куцая бородка, был бы вылитый сосед девочки прапорщик Кавешников. Разумеется, прапорщика за глаза никто так не называл.

Девочка между тем рассматривала убывающие конфеты из «кремлевского» подарка, новое платье, сказки Бажова. Как же там много страниц!..

– Дедушка, почитай, а? – она протянула ему Бажова.

Дед обреченно взял пластмассовый с тигровыми разводами футляр, лежащий на газете «Известия», раскрыл его, положил пустой закрытый футляр на известинские ордена, а очки водрузил на нос, – и тут же глаза его сделались огромными и беспомощно-удивленными.

С креханием он улегся на свою пухлую кровать, где спала сегодня девочка с мамой, а по обе стороны от него пристроились внуки. Дед раздобрел, расчувствованно засопел и, гладя их попеременно по головкам, целовал в макушки. Дети ерзали, устраивались поудобнее, нетерпеливо клянчили поскорее начать, торопили его. И дед читал про бобыля Кокованю, про кошку Мурёнку и девочку Дарёнку, но с каждым абзацем все медленнее, медленнее. Его не слишком занимала сказка, возможно, он даже не вникал в ее смысл. Главное, что с одной стороны у него приютился внук, а с другой – внучка.

Когда же стало по-зимнему темно и за окном заскользил бесконечный синий снег, и латунный маятник на стене то появлялся, то исчезал

в полумраке, и лесной козел вскочил на крышу избушки, отбивая копытцем сверкающие в лунном блеске самоцветные каменья, когда дети притихли в ожидании чуда, дед уснул. Они пытались его растормошить, но дед, всхлипнув со вздохом, лишь крепче заснул, засвистев и засопев от удовольствия в голос.

Дети долго перешептывались через безмятежного деда с книжкой в руках и чинными очками на носу. Скучно. И тут Лешка приступил к рассказу! Он поведал о гигантской мясорубке, куда кидали ворованных столичных детей, делая из них колбасу, по-видимому, вареную. Потом вся Москва с аппетитом ела ее! Да, ела, намазывая маслом мягкую белую булку, укладывая сверху розовый кружок, ела за завтраком, запивая чаем, брала, завернув в газету, на работу, продавала в буфете! Все это безобразие продолжалось бы неизвестно сколько, если бы одной маленькой девочке не попался в колбасе «ноготок» одного маленького мальчика. Нет, он, Лешка, ту колбасу не ел, он другую ел, и родители его другую ели.

Помолчав, Лешка зловещим шепотом сообщил и о чернильном человеке, проходившем сквозь стены, и о гробе на колесиках, безнаказанно грохотавшем по кремлевской брусчатке, накрывая геометрически острой черной тенью творения Щусева и Фиороранти, ползя по шпилям сталинских высоток!

Еще девочка узнала, как зубной врач в обычной районной поликлинике, просверлив в Лешкином зубе дырку, на его же губу пролил расплавленный свинец. Когда он ложкой-то свинец в тазу зачерпнул, чтобы дырку залить, рука дрогнула. Может, ложка нагрелась... Свинец тем временем капнул, зашипел на губе. Он, Лешка, не закричал, он только застонал от боли.

Вот девочка ничего не могла ему поведать, ничего подобного в ее тишайшем Ленинграде, заброшенном на самый край Маркизовой лужи, не происходило! А Лешка иссяк. Стало скучно лежать.

Дети выкарабкались из разогретой постели. Дед спал, поэтому шуметь и включать верхний свет не разрешалось, бабушка с мамой гнали с кухни, не давая ничего щипать и пробовать. Ужасно скучно, скорей бы Лешкины папа с мамой пришли...

Лешка думал-думал и придумал! Тихонечко взял у «Ленина» ключ от дедовского стола, открыл верхний ящик. Там была зеленая картонная папка с белыми тряпочными тесемочками, с коленкоровым переплетом. Развязывая тесемочки нетвердыми руками, дед складывал в папку бережно вырезанные из журналов цветные портреты Пушкина, дам в пышных платьях, бесконечные русские пейзажи, газетные статьи, длинные и неинтересные. Мама и сейчас привезла ему несколько. «Пешком в историю» – было написано на них. Дед обрадовался, сказал, что обязательно прочтет, когда будет время, потом, по-видимому, когда они уедут или через месяц.

Большие вырезки дед складывал пополам или в несколько раз, но от частого разворачивания и любования леса, вазы с фруктами, портреты людей ушедших эпох пересекали белые мохнатые дорожки.

Лешке эта папка с дедовскими сокровищами была совершенно не нужна, он лишь приподнял ее, вытаскивая пачку конвертов. Из каждого конверта они с девочкой доставали вложенный чистый листок бумаги и рисовали на нем, изощряясь друг перед другом, ну просто о-о-чень и очень смешные рожи: то Бабу Ягу, то пьяниц, то просто разнообразнейшие портреты с диковинными ушами, носами, из которых в два ручья льются нескончаемые сопли. В беззубые рты обязательно были воткнуты дымящиеся столбом сигареты. Все эти художества строго и методично они сложили обратно – каждую в свой незапечатанный конверт, закрыли ящик и вернули ключ вождю.

Было ужасно весело! Особенно когда они представляли реакцию бабушки, раскрывающей конверт, или кто-нибудь получит такое письмо, вот умора! Перебивая друг друга, они представляли ее в лицах каждый раз по-новому, заливаясь беззвучным смехом.

Бабушка и мама забряцали тарелками, накрывая на стол: вот-вот придут тетя Валя и дядя Вася. Лешка запрыгал, дед проснулся. Он громко и смачно до слез зевнул и сказал, что давненько так сладко не спал. Он потрепал ребятам волосы, сел к письменному столу, открыл все тем же ключом один из ящиков, достал резко пахнущую, заклеенную по разло-

манным бокам ровными кусочками марли коробочку с лекарствами. Стал привычно откладывать себе таблетки, какие по две, какие по одной, достал с горизонтальными полосками и цифрами мензурку, накапал туда страшно вонючую желтоватую жидкость, поставил бутылочку обратно, закрыв хорошо знакомое девочке фиолетовое чернильное пятно на картонном дне коробки. Девочка удивлялась его приготовлениям. Какой он умный и как он все это запоминает! Она бы давно запуталась!

Мама зажгла все лампы на люстре, в комнате стало сразу беспричинно весело. На столе появилось превеликое множество разнообразнейшей еды, а также с игривой граненой шапочкой пробки пузатый запотелый графинчик, который бабушка лукаво называла «беленькой».

Однако дед успел помазком взбить пену в стаканчике, намылиться по самые глаза, гладко выбриться, спрыснуть себя одеколоном из «груши», надеть накрахмаленную рубашку, затянуть галстук так, что над воротником свисала дряблая лягушечья кожа – Лёшкины родители все не приходили. Разубранный стол занимал большую часть комнаты, но к нему запрещено было прикасаться.

– Батюшки, сейчас заливное у меня потечет! – всплеснула руками бабушка и убежала на кухню.

Девочка подошла к окну. Там, за стеклом, раздвигая темноту желтым светом круглых выпученных фар, плыли автомобили, а в недосягаемых сиреневых сумерках, скрипя каблучками по утоптанному снегу, куда-то спешили незнакомые молодые женщины, зябко пряча в пушистых меховых воротниках пальто раскрасневшиеся до хрупкости морозные лица. И, растаяв в темноте, они еще напоминали о себе угасающе неуловимым холодным ароматом белой сирени.

Раздался звонок. Все знали, кто это.

Тетя Валя и дядя Вася принесли с собой запах вечерней улицы: снега, яблок и хризантем, и он лишь усиливал желание остаться дома и никуда не ходить.

Все что-то громко говорили, целовались, стряхивали с пальто мелкий крупитчатый снег. Девочке вручили улыбающегося шоколадного зайца, завернутого в раскрашенную фольгу. Развернув обертку, девочка откусила у зайца ухо: внутри было пусто и темно.

Мама украдкой шепнула дяде Васе: «Я тебе привезла то, что ты заказывал». Тот обрадованно закивал. Девочка знала, что это янтарные бусы с бусинками в виде остроконечных зернышек. Нанизанные на нитку, они забавно торчали, излучая теплый желтый свет. Оставшись с мамой на кухне, радостный дядя Вася говорил:

– Представляешь, моя Валюха выходит к гостям в новых бусах...

У тети Вали через месяц был день рождения, именно это и явилось причиной их опоздания: портниха назначила примерку на слишком позднее время.

Все расселись за столом, но дети быстро наелись и, не понимая, как можно так долго есть и говорить то про еду, то про работу, забрались на диван. Лешка демонстрировал свой альбом с марками. То были настоящие марки, купленные в магазине или на почте, не фантики с истертой краской от съеденных кем-то конфет, собираемые девочкой!

– Вот это серия про собак. Видишь – немецкая овчарка. Она самая умная, вон какой у нее язык красный!

Девочка восхищалась и широтой Лешкиных познаний, и альбомом, где за целлофановыми кармашками рядами стояли разноцветные марки. Она склонилась над альбомом:

– А папа мне обещал собаку подарить, – без всякого хвастовства сообщила она. – У него у тети на работе щенки родятся скоро.

У Лешки перехватило дыхание.

– Порода называется спаниель. Уши длинные, а хвост короткий, – продолжала девочка, но Лешка надолго замолчал, с деланным вниманием и тоскою переворачивая вперед и назад толстые страницы альбома.

– Грустно, что нам не удалось всем вместе собраться. – Услышала девочка голос деда.

– Господи, но мы и так каждое лето собираемся вместе, – недоумевала мама девочки. – Ну не пустили человека с работы!

– Да-да, – как-то суетливо оправдывался дед за свою неуклюжесть. – Но летом будет уже не то... Хотелось сейчас вас всех собрать.

«Почему не то?» – удивлялась девочка. Они с Лешкой с весны до осени жили у бабушки на

даче. Когда родители ехали в отпуск на море, они всегда останавливались и забирали девочку. Почему дед говорил, что летом будет уже не то? Девочка обиделась и хотела спросить, но дед, вяло откинувшись на спинку стула, тускло посмотрел вдаль и, пробормотав что-то мудреное, уснул, приоткрыв мягкий мокрый рот.

Внешние события сделались ему безразличными, печаль отступила перед физической усталостью и дряхлостью, а потому дед равнодушно уснул. Девочке стало стыдно за него. Она опустила глаза: на коленях лежал альбом с марками, с миром ярких картинок в легком облачке белых зубчиков – все это заставило забыть наплывшее брезгливое раздражение.

Послушными птенчиками дети сидели рядышком на диване, свесив еще не достающие до пола ноги. Им слишком хорошо было после катка и каруселей – объесться и быть среди тех, кто окружает тебя с самого сотворения мира, который для них начинался с их рождения. Здесь бесконечно жили, не меняясь, три отдельных мира: детей, взрослых и стариков, здесь все вокруг было вечным и незыблемым, как чернильница с пузатыми ангелами, как бело-фарфоровая балерина с отбитой рукой или отрывной календарь, приколотый к картинке, где девки в сарафанах кружились в лихой пляске.

– Что это: «Несет жизнь»? – прочла девочка на некрасивой, стоящей отдельно от других марке.

– Кровь донора несет, – поучил Лешка.

– А кто такой донор?

– Тот, кто кровь свою умирающим отдает.

– Всю?

– Иногда всю. Чтобы другой здоровый был. Эту марку папе дали за его кровь, ему чуть-чуть оставили – маму пожалели.

Девочка подумала, что это очень больно.

– ...Эх, – попытался отшутиться дед. – Если бы оно от выпитого зависело...

Девочка очнулась: по-видимому, дядя Вася пожелал дедушке здоровья, потому что держал в руке рюмку с водкой.

– Опять ты за старое, – кипятился дядя Вася, поставив рюмку с расплескавшейся водкой на стол. – Нинка! – он повернулся к маме девочки. – Я его лучшим специалистам Москвы показывал. В какую больницу устроил! Дед, ты мне скажи, что тебе говорил профессор...

– Так ведь они, Вася, по анализам судят, – мягко оборвал его дед. – Где им знать, когда Он призовет. Чувствую, совсем скоро.

А бабушка понимающе поддакивала, что скоро, она сама знала и чувствовала, что скоро. Что скоро-то? Девочка любила прислушиваться к разговорам взрослых. Они ей казались особенно интересными, оттого что никогда не слышала их начала и не могла дождаться конца.

– Слушай, – кивнула тетя Валя, – а дочка-то твоя на деда стала походить.

И все посмотрели на раскрывшую от напряженного внимания рот девочку.

– Она на мать мою похожа, – уточнил дед.

– А разве ты ее помнишь? – засомневалась мама девочки.– Сколько тебе было, когда она умерла? Три, четыре?

– Конечно, помню. В двадцать с небольшим лет умерла, совсем, можно сказать... М-да-а-а...

– Деда, что же ты ничего не кушаешь? – сокрушалась бабушка.

Действительно, на тарелке деда лежали несъеденные горы салатов и закусок, что так не вязалось с его пузатым телом.

– Да что-то не хочется, бросать пора...

– Опять двадцать пять, – дядя Вася хлопнул себя по коленке.

– Нет, – поспешно оправдывался дед. – Место для курника берегу.

Курник – бабушкин фирменный пирог и, наверное, единственное, что она могла по-настоящему хорошо готовить. Мама говорила, что после него можно три дня не есть, а только таблетки пить. Курник представлял из себя пирог из рассыпчатого теста высотою с кулич. Внутренность его бабушка любовно укладывала мясными фрикадельками и кусочками курочки. И все это обильно пропитывалось бульоном, который бабушка подливала в дырку пирога, пока тот румянился в жаркой духовке.

Когда девочка кусала курник, то по подбородку, по ее руке до локтя всегда тек горячий, пахнувший лавровым листом мясной сок, а желтоватое соленое тесто рассыпалось во рту.

Гордо сияя, бабушка внесла свое чудо. Все молча напряженно ждали, когда его разрежут, а потом все ели и ели, только оттого, что не есть его было невозможно.

– Летом, – жевал дядя Вася, – не езжайте вы

на свой заплеванный юг. Давайте махнем вместе в поход!

– Вот-вот. Живите дружно, дети, – некстати успел ввернуть дед.

– У нас есть база от работы, – не обращая никакого внимания на деда, продолжал дядя Вася. – Ягоды, грибы, купание...

– А озеро! – восторженно продолжала тетя Валя. – Всё своё, напротив – монастырь...

Дед опять уснул, свесив голову и сложив руки на животе. От неудобной позы он громко и резко всхрапнул и проснулся, вскинув морщинистые веки, обнажив недоумевающие глаза, и, не удержавшись в бытии, вновь сполз в частый прерывистый стариковский сон.

– Дед, а дед, – покровительственно посмеивалась мама, – мы к тебе в гости приехали, а ты все спишь. Ну, ничего, летом поправишься.

Девочка уже совсем наелась, вылезла из-за стола и ушла смотреть марки. Она долго глядела на одну из них с ярко-сиреневым кристаллом, похожим на камушки бабушкиных, теперь уже маминых, сережек.

– Нравится? – спросил Лешка.

Девочка кивнула.

– Хочешь, я тебе подарю?

– Правда?!

– У меня таких дома – завались, – уныло уверял Лешка.

И девочке впервые за день стало грустно, то ли она поддалась Лешкиному тоскливому настроению, то ли от того, что к концу ужина окончательно проснулся дед и запел. «Разве так поют? – подумала она. – Это вой какой-то, а не песня».

Дед пел до того жалобным надтреснутым стариковским голосом, что невозможно было понять, почему в его необъятном теле рождается такой тонкий дрожащий звук. Не мог он быть вызван одними лишь сокращениями и колебаниями голосовых связок. И хотя слов девочка не разобрала, ей захотелось плакать.

А вот чай пить она наотрез отказалась, как ее ни уговаривали,– ни с вишневым вареньем, ни со смородиновым, ни с клубничным.

Когда шум и поцелуи затихли и мама мыла посуду на кухне, одетый в полосато-арестантскую пижаму дед сидел в комнате на диване, положив на острые коленки плоские ладони-дощечки.

– Да, – сказал он бабушке, глядя куда-то на пол, – опять не то говорили, опять ели.

– А как же, – оправдывалась обиженная бабушка. – Нельзя же детей с пустыми руками встречать.

– Все время едим, едим, как голодные. Не получается у нас по душам поговорить.

– А что ты им скажешь? – утешала его бабушка. – Они теперь взрослые, нас не слушают...

– Это верно...

– Живут дружно. Чего тебе еще надо?

– Да-да, но столько ждали, столько думали, что сказать... Вот и ушли совсем...

– Не печалься, деда, ложись-ка спать. Чего уж тут поделаешь... – И бабушка опять преданно ползала у его ног, снимая носки.

– Нет, ничего, – помолчав, проговорил дед. – Надо в спокойствии смириться. Как же быстро... Как быстро. Будто день прошел. Круг замкнется, был вход, стал выход... Э-э-х! – дед с усилием положил ноги на диван, а бабушка укрывала его одеялом, подоткнув старательно по бокам, чтобы не замерз и было слаще и дольше спать.

Девочка спряталась за занавесками у окна. Там внизу, на улице, не в силах уйти домой, разбегаясь по черному зеркалу льда, раскатанному до блеска, катила на ногах маленькая девочка. Рядом ее терпеливо ожидала старенькая бабушка, а снег сверкал им вечерними огнями...

Опять наступила ночь. Неслышно лежал с бабушкой тощенький Лешка и огромным пятном спал на диване дед, лишь мама ворочалась и, сердясь непонятно на кого, шептала сама себе: «Ну надо же было так ужраться...»

Девочка лежала с открытыми глазами и мечтала. Ее ожидают и цирк, и каток, и Оружейная палата. Дед с бабушкой к ее приезду приготовили много развлечений.

А через месяц бабушка открыла верхний ящик письменного стола и, заливаясь не то горькими, не то светлыми слезами, смотрела на листочки со смешными детскими рожицами, вложенными в конверты, надписанные еще дедовской рукой.

ШИШКИ[1]

рассказ

На крохотной кухне обедали молча, стучали ложками, глотали суп. Виною была Вовкина двойка. Вчера, к тому самому времени, когда Вовку кто-нибудь из родителей забирал от деда с бабой спать, он вспомнил о докладе. Вовке необходимо было сделать небольшое сообщение по истории на тему, которую озвучить он никак не мог. На скомканном клочке, выпавшем из перевернутого вверх тормашками портфеля, с несколькими ошибками было написано: «Чесменская церковь как парафраз готики».

– Небольшой доклад, – Вовка извиняюще заглядывал в округлившиеся глаза деда и бабки. – Всего на пол-листочка маленький такой докладик.

Бабушка рванула к всеобщей истории искусств, дед – к Большой советской энциклопедии, Вовка к Википедии. Совместный труд был судорожно сляпан минут за двадцать и благополучно забыт Вовкой утром дома. Другими словами, двойку по истории заработали совместно.

– Деда, Людмила Алексеевна сказала, чтобы ты пришел завтра в школу, – Вовка безуспешно пытался разрядить обстановку. Двойку дед с бабой воспринимали острее него.

Дед строго посмотрел на внука поверх очков.

– Не, честно. Она спросила: «Был ли у кого-нибудь дедушка на фронте?», никто руку не поднял, а я поднял и сказал, что мой дедушка – блокадник, – Вовка водил ложкой в супе, изображая процесс поедания.

Дед глядел в тарелку, медленно подносил ложку ко рту и еще более медленно жевал десятком сохранившихся зубов.

– Ну, так ты пойдешь?

– Я же не герой, был ребенком, – сказано было категорично и почти по буквам, суп деда интересовал куда больше беседы с подрастающим поколением.

– Давай, деда, сходи, – Вовке на помощь пришла бабушка.

– Кому это интересно? – вяло отбивался дед, не отводя глаза от супа и ложки.

– Детям, – бабушка заняла наступательную позицию. – Дети должны знать.

Дед устало вздохнул, но отвечать передумал.

– Так ты пойдешь? – спросил Вовка.

– Нет, – дед доел суп и протянул бабушке тарелку для второго. – Никаких подвигов я не совершал.

– Как же, дед, у тебя медаль «За оборону Ленинграда»?

---

[1] Шишо́к – леший, черт, домовой, вредный и старый, но не очень злой, по мнению автора.

– Так ее всем давали, кто девятьсот дней пробыл, не уехал в эвакуацию и работал. Маме моей дали, папе, тетке твоей. У нас вся семья герои-медалисты, соседка Матрена Терентьевна тоже героиней была.

– Дед, а я учительнице уже обещал. – Вид у Вовки был совершенно подавленный. – Ну расскажи хоть что-нибудь, а я в классе это перескажу.

Казалось, дед не слышал и так же аккуратно, как и с супом, разделывался со вторым.

– Когда удавалось достать желатин, – неожиданно начал он, – мы брали лавровый лист, уксус, горчицу... В блокаду почему-то с уксусом было все нормально. Все это перемешивали медленно...

Эту историю Вовкина бабушка за пятьдесят лет жизни с дедом слышала не единожды, и весьма вероятно, что ели само варево меньшее число раз, чем о нем рассказывалось, причем только о нем.

– Вся семья собиралась на кухне, наполовину загороженной чугунной дровяной плитой. Готовили студень! Разводили в кастрюле желатин, а к нему полагался самый настоящий острый соус. Тетка Аня искала лавровый лист, тетка Зося – черный перец... Приготовления к студню шли степенно и величественно-осознанно. Это был даже не процесс, не алхимия, а священнодействие! Не беда, что в том студне мясо не предполагалось, но студень можно глотать.

Вот она, огромная семья, на довоенной фотографии: все улыбаются, все покойники, даже те, кто не попал в кадр, не добежал, не успел. Невидимый фотограф, незнакомый последующему поколению дядька Антон нажал кнопку. Фотоаппарат клацнул, а спустя месяц в темной кладовке при свете малиновой лампы они все плавали в такого же цвета жидкости, извиваясь фотопленкой, и устрашающе улыбались черными зубами.

Живы только Вовкин дед и его сестра, хлопнувшаяся год назад головой о кафельный пол в сортире и оттого полностью потерявшая разум.

Она, будучи в здравом уме, любила другую байку – как с подружками рыла окопы, а в обстрелы, в затишье, выползала на поверхность покрутить ручку патефона или подтолкнуть «заевшую» иглу, с опаской озираясь на воющие небеса, и по-пластунски – назад, дослушивать песенку водовоза из «Волги-Волги». Таков был ее посыл в историю, завещание человечеству.

Воспоминаний про студень Вовке явно не хватало, не тянуло оно на «урок мужества», никак не тянуло. Дед, вероятно, и сам так посчитал, а потому далее последовала еще одна занимательная история.

– Сосед с третьего этажа один остался. Ходить на улицу не мог, взял и вытащил на лестницу бадью с нечистотами и вывернул ее вниз в пролет.

Вот это пришлось Вовке по вкусу!

– Но он все равно потом умер, – безразлично продолжал дед.

– А как же вы мимо ходили? – нечистоты на Вовку произвели большее впечатление, чем немощность и смерть безвестного соседа.

– Так замерзло сразу. Весной оттаяло – убрали.

Вовка уже сполз со стула, необходимую информацию он из деда выбил, и завтра перед учительницей стыдно ему не будет.

– Вовка, не убегай. Дед, ну надо какую-нибудь другую историю для детей! – бабушка преследовала сразу две цели: не обидеть деда и отобрать рассказы для класса.

– Как вы не понимаете! – дед заскрипел остатками зубов. – Об этом говорить нельзя! – Вовка с бабушкой пригнулись и притихли.

Об этом никогда никто не говорил, об этом не думали, во всяком случае старались не думать. Его родня, поредевшая, собиравшаяся по самым незначительным поводам в гостиной за огромным дубовым столом, беседы вела о всякой бытовой ерунде, о чем угодно, только не о сорок первом годе, стараясь вытравить хоть малейшее воспоминание. Даже оговорки, даже случайные реплики не проскальзывали никогда! А вот то, что сказала вчера соседка или дама в троллейбусе!.. Любая мирная мелочь во сто крат была важнее. Дед гнал прочь воспоминания о детстве, тетки – о юности. Всем им это почти удавалось, и чем дальше – тем больше.

Другими словами, последующее поколение о безымянной даме в троллейбусе или даже в трамвае, а уж тем более о сельском хозяйстве Гондураса или Тринидада с Тобаго знало куда больше, чем о прошлом своей семьи.

– Вам ведь просто любопытно, а мне на некоторые фотографии больно смотреть! – Дед замахнулся, чтобы ударить жилистым кулаком по столу, но попал в тарелку с недоеденным пюре, которую бабушка ловко подхватила. Злобное выражение искорежило лицо старика, он вытер грязный кулак сначала о край стола, затем схватил и утерся висевшим кухонным полотенцем и молча демонстративно удалился к себе в комнату спать.

Пока шаркал тапочками до своей комнаты, немного поостыл, но сон к нему все равно не шел. Лежа со сложенными на груди руками, он подумал, что напрасно погорячился. Вот теперь не уснуть, привычный распорядок нарушается. Широко раскрыв рот, дед зевнул, из глаз выкатились слезы, но сон не шел...

Внук крайне не радовал деда своим поведением: от телевизора и компьютера не оторвать, читает из-под палки. На ум пришло высказывание Чайковского о том, что из детства человек черпает воспоминания и впечатления на всю жизнь. А что у Вовки будет за душой, когда вырастет? Компьютерные стрелялки и троечные знания?

От Вовки с Чайковским мысль деда плавно перешла к куплетам Трике из «Онегина».

Как же он их не любил! До чего привязчивые! Их частенько передавали по радио. И крутятся они в голове, и крутятся. Позднее, чтобы их выбить, он напевал «Танец с саблями» Хачатуряна. Иногда помогало... А тогда он мальчишкой спешил вдоль Обводного на «Красный треугольник», где работал, спешил и пел эти дурацкие куплеты. Светило солнце, первое весеннее ласковое дезинфицирующее солнышко, под которое оголяли гноящие и смердящие язвы человекоподобные выползки из соседних домов. Он шел мимо них, а глаза против воли разглядывали и ощупывали каждую выставленную как на показ язву. С тех пор бал у Татьяны и объяснение Ленского с Онегиным неразрывно связаны с этими уродливо-безликими человеческими огрызками, помноженными на детские страхи. Где там американским ужастикам!.. Слабаки!

Дед зевнул, пытаясь наедине с собой спрятаться за маску равнодушия, но за закрытыми дверями комнаты его никто не видел, и потому мысли его потекли в печальном русле и скоро оттуда не выбраться.

«Какой уж там сон!» – это он сказал сам себе вслух. Зачем они окунули его туда?

Он понуро и послушно встал с кровати, нашел чистую тетрадку в линеечку, ручку и уселся за письменный стол, достал из футляра очки, водрузил их на нос. Наверно, он должен им что-то оставить?.. И они правы...

По Обводному он часто ходил, а вот почему оказался один на Фонтанке у Обуховского моста?.. Подошли две женщины, что-то хотели узнать, как куда-то пройти, что ли... Обстрел начался неожиданно, он юркнул в парадную, зажался в угол, подальше от двери, от близких взрывов, содрогаясь вместе с домом. Но ни громкое дыхание, ни стук сердца не заглушали близкие взрывы и визг в небе. Он без надежды прощупал взглядом каждую ступеньку лестницы – не было здесь безопасного места, как не было и мамы. Когда утихло, он выглянул на улицу. Женщины лежали недалеко и были тем, чем мог бы быть он. Рядом с ними из сугроба высовывалась потемневшая, будто одеревенелая рука.

Дед очнулся в темноте от стука метронома. Старик потряс головой, очки свалились с мокрого от слез лица, метроном исчез: это Вовка, вырвавшийся от приготовления уроков, дубасил палкой по картонной коробке. Старик, вздыхая, встал, упрятал тетрадку глубоко в стол. Скорбные мысли, обращенные в слова, покинули его, а потому дед объявил Вовке, что на «урок мужества» пойдет, если только будет хорошо себя чувствовать.

Назавтра, проснувшись, он никак не мог вспомнить, что же такое неприятное должно с ним случиться именно сегодня. Мылся, одевался, кровать убирал – не мог вспомнить, никак не мог. За завтраком, когда кашу ел, вспомнил. Стало еще тяжелее, но он знал, что в школу не пойдет.

После завтрака дед обул удобные валяные

чуни и меховые варежки, натянул ушанку с опущенными ушами по самые совиные брови, приподняв бороду, укутал шею мохнатым теплым шарфом, взял палку и вышел на улицу. С каждым шагом в противоположном от школы направлении чувствовал себя все более и более свободным.

От того, что убежал от всех, в аптеке, куда он зашел, дед оказался в чрезвычайно веселом расположении духа. Покупая привычные лекарства впрок, даже нагнувшись к окошечку, оригинальнейшим образом пошутил с аптекаршей:

– У меня давно ангина,
Скарлатина, холерина,
Дифтерит, аппендицит,
Малярия и бронхит...[2]

Девушка-аптекарша, как ему показалось, его не поняла. Замерев, она сохраняла внешнюю невозмутимость, как и полагалось при работе с клиентами в тяжелых случаях.

– Что делать, классиков не читают!.. Молодежь... – Дед задорно ей подмигнул.

Девушка опять не поняла:

– Вам чего, женщина? – уставилась она на посетителя за дедовой спиной.

– Ах, это не мне... – Чуть смутившись, дед отошел от окошечка.

И тем не менее все складывалось на редкость удачно: и лекарства он купил, и «Ессентуки» нужного, как опять-таки пошутил, размера, даже когда домой спешил, ловко увернулся от белого джипа, выезжающего на дорогу.

Хотя дома деда встретили молчанием, он рад был, что никого не послушался и к тетрадке с мемуарами никогда не притронется...

В тоненькой школьной тетрадке, беспорядочно, на разных строчках и страницах под Вовкиным заголовком «домашняя работа» было написано корявой рукой: «холодно», «обстрел, их убило», «страшно», «темно», «умер», «съел мамин хлеб», «говорит, есть не хочу», «темно», «стук в дверь, шаги», «хохочет, сошел с ума, зверь», «умер, голод», «страшно, темно», «метроном».

Это были не мемуары с крайне любопытными бытовыми зарисовками, это был прорвавшийся из прошлого ужас.

* * *

По расписанию у Людмилы Алексеевны должен быть классный час, но поскольку на носу 23 февраля, то он заменялся на «урок мужества» с воспоминаниями ветеранов. Где их взять, этих ветеранов, и чтобы в своем уме? Накануне Новиков из ее класса пообещал, что его дедушка-блокадник придет, если будет себя хорошо чувствовать. Людмила Алексеевна запаниковала, решив, что это дедушкина форма отказа. Ее мама, посвященная во все подробности учебного процесса, посоветовала позвонить своему соседу по подъезду, тот на Девятое мая всегда при медалях ходит. А что, если сейчас в класс одновременно явятся два полуглухих, незнакомых и уж точно полоумных, повернутых на политике старика? Сколько будет крику и ругани, дуэтом, не слушая друг друга, перед детьми!..

Людмила Алексеевна вздрогнула. Нет, лучше она сама проведет в классе этот урок мужества, она учительница французского, мать двоих детей, одиночка. Оставшееся время посвятит классному руководству. К счастью, никто из стариков не появлялся. Новиков поторчал в дверях класса, поговорил с кем-то по телефону и понуро поплелся к своей парте.

«Оно и к лучшему», – подумала Людмила Алексеевна, глядя на него.

Зазвенел звонок, и она только успела открыть рот, как в класс вошел ветеран – мамин сосед. Не вошел – явился, вплыл, торжественно наодеколоненный какой-то дрянью, при медалях, в отглаженном добротном костюме, диссонирующем с дрябло висящей стариковской кожей. Людмила Алексеевна устыдилась своим мыслям: для нее этот «урок мужества» – галочка, причем не самая приятная, для старика – событие.

– Ребята, к нам в гости пришел замечательный человек, ветеран Великой Отечественной войны Иван Акимович Петушков. Похлопаем ему!

---

[2] Из «Доктора Айболита» К. Чуковского.

Акимыч смутился.

– Иван Акимович, проходите, садитесь за мой стол, пожалуйста. – Людмила Алексеевна отошла за последнюю парту, чтобы лучше видеть, чем сорок пять минут будет заниматься ее класс – двадцать пять человек от одиннадцати до двенадцати лет.

Акимыч зашагал от двери к учительскому столу. Старик устал, он даже непроизвольно наклонился вперед, чтобы быстрее добраться до стула. Выглядело комично: ряды медалей свободно болтались и позвякивали, пиджак сзади топорщился в виде журавлиного хвоста, выставленная вперед желтая узловатая рука искала спасительную спинку стула. Наконец она была поймана. С грохотом отодвинув стул, Акимыч плюхнулся на него, весомо выдержав паузу, солидно откашлялся, начал: «Фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз... Первые дни войны... Героическая оборона Брестской крепости... Всюду организовывались партизанские отряды...»

Голос у Акимыча был зычный, командный, ребята быстро присмирели. Когда ветеран добрался до героического подвига жителей блокадного Ленинграда, Новиков приуныл. Людмила Алексеевна видела, как он повесил голову, сник, но вскоре принялся рисовать смешную рожу на клочке бумаги.

– Иван Акимович, расскажите нам что-нибудь из своей фронтовой жизни. – Людмила Алексеевна сама бы могла провести такой урок мужества, разве только без блеска медалей.

– Мои воспоминания... – Акимыч сурово нахмурил одну бровь. – Тяжелое время было, ребята, очень тяжелое... Вот в партизанский отряд, например, забрасывали. Ночью забрасывали с самолетов, чтоб фашисты не видели. А партизаны внизу... Они костры, значит, развели треугольником, чтоб самолеты видели, где парашютистов сбрасывать. Летчик-то не знает, партизаны те костры развели или диверсанты и предатели... Самолеты у нас не простые были, У-2 назывались. Они низко так летали. Летчики туда не хотели идти, девчата на них летали...

Людмила Алексеевна насторожилась, сюжетик показался ей слишком знакомым, но дети слушали.

– Ох, девчата эти песни любили и плясали! Закружится так лихо под гармошку! Э-эх! Но и среди наших ребят-летчиков ого-го какие таланты были! Летчик один у нас замечательно пел песню про смуглянку, так его Смуглянкой и звали. А смуглянка – это же девушка!

Ребята засмеялись, засмеялся и Акимыч. Он как-то быстро и легко стал детям своим.

Людмила Алексеевна смотрела на разговорившегося старика и с грустью думала: «Вот она и есть старость». Сидит дед, сухой, как палка, как ее указка у доски. Бледно-желтая с пигментными пятнами кожа обтянула лысую с бородавками башку, которая уже не помнит, что было с ним, а что в телевизоре. В повествовании о героической фронтовой жизни Акимыча Людмила Алексеевна насчитала не то пять, не то шесть фильмов. А сколько было искаженных почти до неузнаваемости? Вот так и она когда-нибудь будет своим внукам воспоминания на уши вешать, искренне веря во весь тот бред, что несет.

– Предатели Родины... Иосиф Виссарионович...

Людмила Алексеевна вздрогнула, этого она боялась больше всего.

– Иван Акимович, мы вам очень благодарны за то, что вы пришли. – Она посмотрела на часы – до конца урока пять минут. Продержится!

Людмила Алексеевна нейтрализовала Акимыча, мажорно заговорив и об уважении к старшим, и о любви к Родине, и о том, о чем необходимо было сказать на классном часе. Акимыч победоносно оглядывал класс.

Перед тем как вручить старику три чахлых гвоздички и коробку конфет, купленные на скудные деньги родительского комитета, она попросила его сказать что-нибудь напоследок. Акимыч поведал о том, как важно учиться и спортом заниматься, мальчики должны воинами быть, да и девчатам не следует отставать. Прозвенел звонок, тут только дети загудели, Акимыч держал в напряжении класс весь урок. Это был подлинный триумф.

Стоя в коридоре, старик испытывал почти головокружительную легкость. Он бы даже

побежал сейчас как мог в душный класс к детям, к грязной доске с разводами мела – ко всему тому, что дало ему острейшее ощущение полета, счастья. Акимыч оглянулся – дверь уже закрыта. «Эх! – махнул он рукой. – Еще раз приду, обязательно приду!» В том, что его позовут скоро, очень скоро, может быть, даже на следующей неделе, он ничуть не сомневался, он видел, как его слушали!..

Но он не заметил, как исчезла учительница, как шмыгнул мимо пацан точно с такой же коробкой и гвоздиками для дедушки. Радость переполняла Акимыча, но не только она одна, еще и гордость за себя, за свой аккуратно отглаженный костюм с тремя рядами медалей, за белоснежную рубашку и галстук, за красные цветы в руках.

Акимыч спустился с третьего этажа в гардероб, и все шныряющие взад и вперед ребятишки почтительно обегали его: идет ветеран, герой.

Гардеробщица помогла ему надеть пальто, а он, не привыкший к такому обхождению, все не мог попасть в рукав.

– Ах ты господи! – добродушно сокрушался он. – Ну, спасибо, голубушка.

«Голубушка» расплылась в улыбке.

Акимыч вышел на улицу и сразу понял: праздник закончился, двери школы захлопнулись, теперь он опять просто дед, согбенно и медленно идущий по улице, ну, пусть с цветами и конфетами, но все равно обычный старик. Грустно... Но ему звонко запела синица, и не одна. Акимыч весело подмигнул сам себе. Ничего – прорвемся! Господи, сокрушался Акимыч, ну почему он в школу к детям пришел так поздно, почему не ходил раньше? И хватит ли у него времени все поправить? Это ведь правда: дети – наше будущее.

Он брел домой. Тротуар был не то скользкий, не то мокрый: конец зимы. Акимыч не торопился, шел медленно и осторожно. Правильно старуха ему дома говорила: не ходи – упадешь, а он молча хлопнул дверью, еще и палку не взял, дурак: постеснялся перед ребятами – с медалями да с палкой.

И Акимыч бы и не упал, но виной всему был идущий навстречу старик, который, отклячив зад, переставлял ноги, ничего не замечая вокруг себя. Вдобавок этот старик задел Акимыча своей палкой, тот не удержался, замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но успел только выкрикнуть фальцетом: «Стервец!» – и нырнул под колеса медленно выезжающего белоснежно-блестящего джипа с двумя грязно-черными капельками на морде.

«Стервец!» – это адресовано было в пустоту, в никуда. Дед, «подрезавший» Акимыча, был рассеян и глух и потому как ни в чем не бывало топал своей дорогой, не ведая, что он стервец. Зато выскочивший из машины крепкий парень без слов схватил Акимыча одной рукой за шкирку, другой – за штаны на заднице и легко отбросил в сугроб. Он бросил его, как бросают мешок с мусором, хлам, и парню этому было абсолютно безразлично, кто и по какому поводу «стервец».

Так Акимыч очутился на вершине сугроба, барахтая ногами, не достающими до земли. Крепко, как последнюю пядь земли, он обнял этот сугроб, боясь съехать на брюхе в лужу, в которой уже лежал ранее. Мысль, что его дрыгающийся зад, расчехленный развевающимися полами пальто, увидят школьники, придала Акимычу сил.

Он повернулся на бок и уселся. Сидел, как на насесте, крутил головой, пытаясь сориентироваться. От вращения в горизонтальное положение под колеса и обратно в вертикальное на сугробе он запутался, в какой стороне дом, но вытянутая вперед рука, как флаг, продолжала сжимать три революционные гвоздики с надломленными головками. Разглядев «букет», Акимыч в сердцах отбросил его.

Никого вокруг не было. Парень на джипе укатил так же молча, как и освободил проезжую часть дед, из-за которого Акимыч упал. Даже не оглянулся подлец! Ругаться было не с кем. Не было ни свидетелей его позора, ни прохожих, ни какой-нибудь старухи квашни, способной его пожалеть, отряхнуть, помочь, причитая, слезть с грязного сугроба.

Варежки Акимыча промокли, кальсоны задрались к коленям, под резинки носков забился грубый жесткий снег. Стало ужасно жалко себя, и сперва тонко-тонко и пискляво, но с

каждым вздохом и всхлипом все горше и громче Акимыч завыл. Слезы выкатывались одна за другой и терялись где-то между тощим кадыком и шарфом.

Сделалось сразу мокро и зябко, при этом зад у Акимыча был совершенно сухой, но он ощутил им вселенский мертвецкий холод. Этот холод медленно шел из-под промерзшей земли, и он тянул Акимыча туда, вниз, сквозь остекленевшие сугробы. Так было в первый год его работы на Соловках...

Мальчишкой Акимыч был совсем птенцом неоперившимся. Когда охрана из церкви-изолятора на горе выволокла мужика, бородатого такого, невысокого... Тот все приговаривал: «Помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте...» Окал мужичок, может, из одних мест был с Акимычем, а может, и нет. Разве сейчас узнаешь... Потащили его к лестнице деревянной, к верхней ступеньке. А было этих ступенек аж четыреста штук! Ноги мужика не слушались, заплетались от страха, а он знай долдонил все одно: «помилосердствуйте» да «помилосердствуйте».

Попятился Акимыч тогда, цепляясь за него взглядом. Оба они знали: то, что сиюминутно было еще человеком на верхней ступени лестницы, пролетев их четыреста штук, внизу будет даже не телом – месивом, и этим месивом должен быть провинившийся мужичок. «Поше-е-е-л!» – Некиференко и Стасюк слаженно гаркнули, поднапружились, подкинули мужика – и тот исчез, «пошел».

Крику не было, только стук, когда затих и он, Акимыч медленно осел в сугроб. Фалды жесткой шинели приподнимались и встали колоколом, винтовка за спиной поползла вверх, ушанка съехала на нос...

...Там далеко внизу лежала полоска Белого моря, белого от снега. Ближе к Акимычу оно процарапалось серо-черными стволами редких деревьев. Это был берег. А где море у горизонта поднималось вверх, было небо, бледное, с пеленою облаков...

И облака эти со снегом холодным саваном объяли и сковали Акимыча.

– ...Яйца заморозишь!..

Акимыч очнулся.

Нос у него точно замерз и покраснел до прозрачности. Акимыч потер нос и даже куда-то пошел, но куда бы он ни шел, везде за ним плелся покойный мужичок, а товарищи из охраны буравили их обоих глазами. Темнота, в которой Акимыч мог скрыться, не наступала. Короткий северный день тогда был бесконечен...

– На! – Некиференко, старший из охраны, глядя исподлобья, протянул ему стакан слабо разбавленного спирта. Акимыч выпил, но лучше ему не стало. Чуть отлегло, когда Некиференко объяснил, что мужик с бородой – враг. Враг тот не только окал, но еще и не выговаривал «р», а «с» и «з», шлепая губами, произносил со свистом, и потому никак у Акимыча не получалось до конца поверить Некиференко. Никак! Через день был еще один стакан и еще. А потом была Танька....

Не любил вспоминать Акимыч те годы, забыть старался, рад был, что перевели на Большую землю. Когда началась война, на фронт просился – не пустили. Здесь нужен! И он понял: служба везде служба. Он на своем посту, роптать не должен, время суровое! Акимыч служил честно, боролся с врагами внутри страны и уже без соплей. Дальше все пошло путем, но на встречи с пионерами не ходил, о службе помалкивал.

В глубине кармана штанов зазвонил телефон.

– Деда, ты куда пропал? Мама волнуется. – Правнук, названный в честь него.

Акимыч засуетился, шмыгнул носом, брякнул медалями под пальто – небоевыми.

Куда-то запропастилась коробка конфет... Акимыч сполз с сугроба, выудил из месива на дороге коробку конфет «Наслаждение» и потопал домой.

«Хорошо, что коробки сейчас затягивают полиэтиленом, а то бы испортились конфеты», – думал он.

Урок китайского, или Военная тайна

рассказ

Совсем скоро закричит сова. Как только солнце закатится куда-то вбок, волоча за собою, как сети, удлиняющиеся при своем движении тени, когда оно исчезнет под малиновой полосой неба в лесу, распластав их на траве, ненужные, брошенные, тогда, повинуясь тысячелетней привычке, растявкаются разномастные деревенские шавки, находящиеся между собой в сотни раз перекрестном родстве.

Однако и они одна вслед за другой замрут до наступления темноты и с чувством выполненного долга спокойно уснут, кто в собственной конуре, кто прямо посреди двора на вытоптанной траве, поскуливая и подрыгивая во сне лапами. И сон их не омрачит никакой грабитель-супостат, разве что поутру хозяйка, баба с пустым позвякивающим ведром, не пойдет доить козу или корову. Не поведет псина во сне чутким мохнатым ухом, потому как грабить в насквозь пропитом доме ее хозяина совершенно нечего, разве что чекушку, спрятанную на черный день и до сих пор, несмотря на все старания, не найденную.

И только тогда, когда все стихнет и с небес тихо спустится ночь, тогда, сидя на косматой еловой лапе, хлопая под клокастыми бровями буравящими темноту круглыми глазами, сова скажет свое: «Угу!..»

Однако она молчит в лесу за рекой – ей еще рано, светло, но уже устраивается поудобней на сухом суку перед сном аист, переставший шлепать по отмелям в поисках лягушек, и расчирикались ласточки, вытянувшись в ряд на проводах.

Умиляясь гармонии природы, я гляжу на притихшую реку, сидя рядом с домом под дубом, с грустью вспоминая Ивана Андреевича Крылова: возраст у меня предпенсионный, вес близок к трехзначной цифре, а потому мужчины при виде меня выворачивают шеи в противоположном направлении. Но душа у меня прекрасная, тонкая. Об этом знаю только я и тот, кто на небесах, а потому, вооружившись самоучителем по китайской живописи, особой тушью (бруском, который надо растирать с водой), а также торшеном за неимением рисовой бумаги, я представляю, как под моей рукой на листе ложатся легкие дымчатые туманы, пенятся водопады, гуляют цапли в шелестящем тростнике, дождь поливает на изогнутом мосту путника с шишковатой прической.

Китайский художник пишет сердцем, и всем своим истосковавшимся сердцем я гляжу на северо-западную речку перед собой, представляя дивные китайские виды на листе...

– ...Можно к вам на качели, мне скучно...

«Люська!» – подумала я и тут же осеклась: это ее сын. Как быстро летит время! Хотя голос у ее сына в точности как у Люськи, впрочем, как и круглые уши. Такой вот у них от покойника прадеда «переходящий вымпел».

– Как же ты похож на маму...

– Да, у меня все мамкино, – раскачивался на качелях мальчуган.

– И нос?

– Да, и нос.

– И уши?

– Да, и уши. – Он явно гордился прадедушкиным наследством.

– Но пятки-то, наверно, папкины?

– Нет, пятки мои! – вскричал он. – У папки пятки шершавые и желтые – у него грибок. Ой, это секрет!

Китайские мазки вдохновенно ложились на лист один за другим.

– Хочешь я тебе картинку подарю?

Он скосил на нее взгляд:

– Еще чего!

Обидел.

– А сам ты рисуешь?

– Я только машины рисую.

– Какие? – мне явно скучно, легкая китайская живопись, несмотря на доходчивость изложения в книжке, явно пробуксовывает, и шестилетний мальчуган у меня чем-то вроде клоуна.

– Да всякие рисую. С фарами.

– А у вас какая машина?

– «Жигуль». Папка кричит: «Моя машина!» Ой, я, кажется, опять секрет сказал. Мама мне говорит: «Все, что про папку, – это секрет!»

– Да нет, никакой секрет ты не сказал...

Успокоенный мальчуган принялся раскачиваться быстрее. Ну что же это такое! Передо мной дивной красоты северная природа, книжка раскрыта на нужной странице с дышащим тончайшими нюансами цвета и света китайским пейзажем, и автор все по пунктам расписывает, и душа у меня поет и так свободно летит за эхом по глади воды к лесу!.. А на бумаге выходит просто форменное безобразие! И если китайский художник пишет сердцем, то мое, получается, молчит.

– Ты с кем сюда приехал?

– С дедушкой, бабушкой и мамой. Мамка кричит папке: «Убирайся, козел прокля...» Ой!.. Это опять секрет! – Внезапно расстроенный парень даже слез с качелей и рассматривал мой шедевр. Там было все: и китайский водопад, и дуб, и даже елка, и тростник с аистом – в общем русско-китайский компот, сплав культур, так сказать.

– А почему у козла нет рогов?

– Вообще-то, это лисица, – я еще хотела добавить, что эта тема популярна у восточных художников, но он меня опередил.

– А вы нарисуйте ей рога – и будет козел.

Лисице были подрисованы рога, и даже веревка теперь вилась от ее шеи к дубу, золотая веревка. Картинку с козлом ученым мальчик попросил себе: почувствовал в ней что-то родное.

Может, и я, как китайские художники, рисую сердцем?..

□

Елена Робертовна СЧАСТЛИВЦЕВА

родилась в Москве,

окончила Ленинградский механический институт.

Печаталась в сетевых

и петербургских литературных журналах.